

Василий Киляков

# Зарницы памяти

*Окончание. Начало в «ДиН» № 1/2024*

## Владивосток. Океан...

...Удивительное «качество» человека: с возрастом, как и с перенесённым большим несчастьем, — всё острее хочется одиночества. Хочется чаще быть одному. И с возрастом — всё больше в лес или к морю. В горы или на рыбалку, к костру. И чтоб никого, ни единой души, рядом не было. А когда это возможно, достижимо, кажется, обзриваешь горизонты духа. Особенно ярко почувствовал величие мира Божьего над обрывом к океану. И теперь вспоминаю, когда я веду эту запись.

Сверху, казалось мне, видишь само бытие, слышишь самые «образы» грядущих волн тысячелетий... Не ветер и шум прибрежный, но созерцанием, ничем и никем не смущаемым, постигаешь, что ядро человеческой жизни, несомненно, вечно. И что это, как не голос души и соло души, исполняемое под треск в костре поленьев, сжигаемых пламенем?

В свете костра, раздвигающем темень как полог, и — тленье леса, и мятущиеся тени. И всё вокруг сотворено со значением и, опять-таки несомненно, высшей силой, Отцом... И когда поймёшь это, то чувствуешь себя уже не безродным чужаком на земле. И не безотраднo и непоправимо несчастным прохожим, а сыном, который ждёт у костерка над обрывом обещанной встречи с Отцом. И в той скрытой боли, что копилась десятилетиями — находишь отраду.

...А разве и сам Бог не настраивает человека на один единственно тон: одиночества, скитаний, прозрений и догадок о Нём, о Его желании встречи с каждым из нас? Он, Искренний, Щадящий, — медленно и верно для каждого из нас с возрастом всё сужает круг общений. Добавляются невзгоды и испытания... «В мире скорбны будете... Но мужайтесь, Я победил мир». И в конце концов — каждый остаётся один всё-таки. Тогда он готов к отложенной встрече с самим Отцом. Сын идёт по своей лыжне и сходит по своему единственному склону. К единственной дороге.

Остро чувствовали это святые схимники, исихасты. Они не протестовали и не упирались, а шли навстречу великой и неисчерпаемой Воле. А чтобы не так было больно расставаться со всеми — они отрывались от этого мира в монастыри, в кельи. Надевали куколь. Бог «старит» нас, по мере нашей способности стареть и становиться мудрее; Он отнимает понемногу страсти и желания.

...Так стоял как очарованный один и жёг костёр над набережной, над океаном в городе Владивостоке... Затем спустился к воде, к волнам и окунул руку в волну. Мокрая твёрдая галька обозначила грань океана: всё, дальше России нет. Вся она за мной, вся за моей спиной.

Корабль-ресторан, движущийся на корабле, там, внизу под ночным обрывом к океану, под широким, в полкилометра, отрогом побережья, уже подходил к моей скале. В светлых лучах жёлтого и белого света над океаном, параллельно, столпами и накрест, лежащим конусом. Клинья света — друг возле друга, — а корабль всё шёл с музыкой, приближался в великом хаосе белых и жёлтых огней, красных отсветов, блистания бакенов и колючих мачт, — точно вот-вот отвалил он от берега. Куда, зачем он идёт, к чему этот праздник «человеческий, и слишком человеческий»? И подумалось: а не за тем же ли, за чем, в сущности, и я здесь: укрыться от ненастья и одиночества? Только я желал найти пристань. А они пытаются укрыться иным способом. Кораблик вывозит людей, которым не остаётся ничего иного, как только принуждённо веселиться — деланный праздник «вывозит» их от самих себя. Они спасаются вряд ли более оригинальным способом, чем я, — этим явно деланным, напускным напряжённым и наигранным принуждённым весельем: деньги заплачены, так веселись, ничего не остаётся другого... Зная, что всё это минутное, что этим не спастись и не насытиться, всё же покажи своё веселье. С рестораном, выпивкой, плясками и дикими выкриками. И вдруг я услышал рёв трубы. Иерихонская труба, оглушительно разорвала тёмное пространство, и всё словно затихло перед тем грозным событием, что обещала она... Но нет, не рухнули скалы, не пошевелились деревья. Что это было? Не знаю до сих пор, но там, на корабле,

как показалось, притихли. И скоро я вновь остался наедине с тишиной. Под звёздами и над океаном. И ушёл, уносил огни кораблик...

И как же вновь светло стало на сердце в этой тьме между небом и океаном!



Эти тёмные, страшные мартовские рассветы над Москвой. Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное. В этих рассветах, когда темно и глубоко светлеет небо там, вверху, вплоть до самого Престола, то здесь — мельещат, шныряют огнями машины всё вольнее в утреннем городе. И всё кажется милостыней тогда — и связи судеб, и людские отношения. Всё милость Божья. И если смотреть на мир, не забывая об этом, — то всё радость, всё становится мило, и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики — не по пустякам значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманым. Нужно только помнить милостыню свыше и назначение своё.

Я на платформе. Электрички приходят пустые: вирус. В небе — всё ещё неумолимо темно. И вот всё синее, и как-то совсем уже неуютно: жиге, строже алеет, светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь, — и зябнет душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это самое мгновенье, как раз и случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал сам Сын Божий ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18). Есть в словах Его — какая-то неотразимая правда, правда сверхвидения, видения духов, явленных Ему, живущих вокруг нас, но невидимых нам, нашим плотским очам, а открытых лишь только святым.

И вдруг два полицейских, идущие рядом, и диалог их:

— Сегодня задерживаем и оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками. С каждого района приказ: не менее десяти протоколов. Если не набрали, работаем и после семнадцати ноль-ноль.

— Это что, на пятиминутке объявили?

— Да!

И мне подумалось: неужели и впрямь до чипов скоро дойдёт, до вживления их в лоб и в кисть руки? И работать они будут на разнице потенциалов, без батареек и аккумуляторов, пока жив человек. Не о том ли и предупреждение нам в Библии? И тоже рука и лоб упомянуты, чтобы человек не мог наложить на чело крестное знамение.

Они, эти полицейские, прошли мимо. Пока прошли они мимо меня, оба, подозрительно глядя на меня одними глазами над марлевыми респираторами. Я сам смотрел на них одними глазами и молчал в забранный маской от вируса. Хруст

подмёрзшего наста и льда по платформе от их шагов. Какой-то страшный фантастический мир...

Вспомнил на работе слова некоего глобалиста, очень влиятельного: «Не думайте, что после эпидемии ковид-19 вы будете жить так же, как и до его появления». В интервью 2017 года он же, некто Клаус Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, говорил так о будущем вживлении чипов в человеческое тело: «Можете ли вы предсказать, что через десять лет, когда мы сидим здесь, у нас в мозгу будет имплантат, и я сразу же почувствую то, что вы чувствуете, потому что у всех вас будут имплантаты?..»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе советник Клауса Шваба, израильский учёный Юваль Ной Харари, рассказал о том, кто будет управлять жизнью на Земле в будущем и как изменится человек в условиях постоянных технологических революций: «Мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческий организм. Для этого нужны две вещи: большая вычислительная мощность и огромный объём данных — в частности, биометрических. До сегодняшнего дня ни у кого не было этих ингредиентов для взлома человечества. Даже КГБ или испанская инквизиция, имеющие возможность наблудать за людьми круглосуточно, не могли этого».

В марте 2021 года крупная венгерская газета Magyar Nemzet, переизданная Visegrad Post, выпустила резкую критику Великой швабской перезагрузки в «новый трансгуманистический мировой порядок» при «транснациональном управлении». Швабианцы «хотят заменить демократию сложным управлением, отдать приоритет технократии над выборами и депутатами и сделать упор на неясную широкую общественности „экспертизу“ вместо обычной прозрачности». Шваб «предсказывает, что современные внешние устройства, такие как ноутбуки и гарнитуры виртуальной реальности, в конечном итоге „скорее всего, будут имплантированы в наши тела и умы“». Автор критических обзоров назвал всё это «неокоммунизмом эпохи Давоса».

И всё же даже и такое грозное присутствие великой тайны, и «молнией спадшего» с небес, и будто бы незримо теперь присутствовавшего среди всех людей великого монстра незримо, — не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

...Без добровольного согласия и отречения от Христа — нет греха ни чипу, ни вирусу.

Ещё один день Великого поста подарил мне Создатель. Стерпевший до конца — спасётся...

Про «ща»...

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе,

в белом музее над морем. Очень старая живопись — и вот удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно — обособлен. У младенцев — лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей, — кажутся одиноки, как звезда среди звёзд. Странно, как мистически, на перспективу, написаны эти картины.

Тяжёлые своей массивной позолотой рамки уже кое-где и трескаются. Трещинами, словно паутиной, сетью покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной, слой, и грунт под ним.

Такова же, верно, и плотная участь всего живого на этой земле, даже и участь самых душ человеческих — паутина морщин и юдоль тысячелетней тишины вослед земного существования. Сеть трещин на лицах — паутиной порчи, и подлинные лица действительного давнего бытия — все как за решёткой. Участь даже душевного, а не только телесного изменённого состояния, и оттого — как бы «зашоренного» бытия. Жив только Дух, а он обитатель сфер невидимых, запредельных окоёмов. А подлинного, иного — в духе — не видно праздному взгляду. Оттого — и не миновать никому забвения.

Не минешь.

Лишь «там», вне этой выставки этих картин, — свет и радость подлинной действительности. Непроходящей. Море и солнце. Ветер и простор... Вышел на улицу Севастополя из музея — и снова счастлив!

Мёртвая телесность искусства — «искусса». Как это очевидно...

Ища существованья смыслов,  
Внутри себя Любовь ища,  
Пойми, что счастье ведь не завтра...  
А ща!

Откуда это?.. Не помню. Как точно, хоть и шуточно, сказано...



Откуда эта мода в прошлом на дебелих младенцев? Микеланджело писал уже не само дебелие тело, но — страсти. Во многом и многих. Быть может, художникам хотелось видеть, воплотить в детское тело живущую и жаждущую плоть — именно страсти — и выразить их зримо? Внешне отобразить? Картины о сытости, которой не было в то время (среди простолюдинов), сытости, о которой мечталось. Картины-мечты. Найти её, эту радость «сытого чрева», хотя бы — вот, в картине. Тоже своего рода — «модерн».

Глядя на эти картины фламандцев и весь антураж на них, кажется, что все эти картины — одно полотно, и всё оно о еде. Голодание,

недоедание — главная беда средневековья. Художники и в зрелости своей были вечно голодны... Если не в пище, то голодны неутолимыми страстями недолгой (в сравнении с нашими временами) жизни. Или вот этот намёк не на дебелого младенца, а на страстную и сытую «глину Божью» — не о том же самом?.. Глину, из которой все мы сотворены в день шестой, заставил художник улыбаться. И какая тоска за этой улыбкой, за дебелистью, показной сытостью, какая острая грусть по чему-то высшему, горнему, что чувствовал, работая, художник. По той доброте (худые да горькие) людей, что вокруг ребёнка, — в поиске, что ли, любви человеческой и сочувствия, которого так не хватает сегодня (и не хватало особенно, надо полагать, и раньше, в средние века).

Не хватает — главного «материала» Любви на всех, плазмы божественной, обетованной для людей промыслом Бога! Того «материала» Любви, который заповедано людям возвращать на этой земле, чтобы она стала подобием Рая Небесного. Но эта нехватка открывается всё отчётливей с каждым прожитым людьми веком, и всё нет как нет подлинного увеличения и умножения Любви. Мясного — вполне теперь достаточно, а вот духовного...

Ходишь по залам и удивляешься: как они были плотяны и тяжелы, все люди того времени, да такowy и остались. И останутся ещё долгое время. Едва ли не каждый — до смерти мало задумывается о смысле существования и о том, что каждый должен бы стать орачем любви, пахарем на ниве этой. А вместо того — войны, снаряды, артиллерийские установки «Гиацинты», «Акации», «Тюльпаны». Хороши «подарки» незваным гостям. А как без них, если не возрастает, а убывает Любовь на свете?..

И как подлинное открытие стал для меня вход в православный храм по выходе из музея, в который ходил несколько дней на выставки картин. Покровский собор, здесь же, на улице Большой Морской Севастополя. В храм, что напротив музея. Весь из белого инкерманского камня...

Какое величие бесстрастной русской иконы в полутьме в сравнении с полотнами фламандцев! И какое наслаждение — оторвавшись от голландцев и фламандцев, прикоснуться, склонить выю перед тихой и милостивой русской иконой!

15 апреля 2020 г., 06:11.  
Facebook for Android

«... Ветер вырывает из рук худенького очкастого юноши стопку нот и швыряет в печальную морду проходящей мимо коровы, которую ведёт на поводке тщедушный крестьянин. Грязный снег на дороге взрывается косыми фонтанами — то под копытами несущегося мимо отряда конной милиции, то под колёсами мчащихся ему навстречу блестящих чёрных автомобилей. Оглушительно

звения, летит огненно-красный, сверкающий латунными ручками трамвай, в окнах без стёкол — гроздья лиц. Из подворотни выпархивает стайка беспризорников и с оголтелыми криками виснет на поручне. Свирепый кондуктор, бранясь, машет кулаками, а наперерез через дорогу уже бежит, свиристя в свисток, милиционер...»

Женский роман, однако! И не кто-нибудь, а всё та же Улицкая — редактор сего изделия, с её же и предисловием. И самим премьерам — и бывшему, и настоящему — «оченно ндравится» (по их собственным признаниям) сей «роман», однако. И премий не счастье... Подобное к подобному. Но как низко пали! И всего-то прошло от развала СССР четверть века, а литературы не стало совсем. Ни одного явления! В жюри нескольких премий жду не дождусь хоть одного шедевра. Ни-че-го. Пустота. И ведь и тот лагерь понимает, видит, что сущая дрянь, а как дружно хвалят, какая согласованность, какое упоение в славословиях их! Как напоминает этот хорал майское лягушиное, с дружно дребезжащими лягушками, болото. А вот это русофобское малограмотное болото цветёт, воняет, плодит подобие себе: пивок, верхоплавок, жуков-плавунцов. Нынешняя литература — не литература, а «либерратура». И как не понять, что хорошая книга, по-настоящему хорошая, бесценна? Ведь что такое «Война и мир» Льва Толстого, роман, оставшийся в веках, как «Илиада и Одиссея»? Он задуман и исполнен в отместку за поражение в Крымской кампании. И войну ту забыли, а романом восхищается весь мир!

А теперь «либерратура» беспросветная, и вот где настоящий коронавирус, уничтожающий не тела даже, а сами души.

Два бесполох серых существа: редактор, которой «стыдно за русских», поделила с некой татарочкой и «Нацбест», и премию «Большая книга», и Госпремию вот за это такое «изделие». Представлена на конкурсе... «Ясная Поляна»... Снят фильм с участием русофобки по кличке Чума Лохматая в главной роли. Вирус, быть может, и войны неизбежны опять для отрезвления нам всем... Ведь предательство на высочайшем уровне процветает: премьеры восхищаются такой белибердой!

...С ужасом думаю, как отнёсся бы сам Лев Толстой к такой «либерратуре». По тексту: в мечети некие русские «красногвардейцы» совокупаются. А боевую подругу, согласившуюся на такой немислимый «неуют» в любви, играет в фильме то ли латышка, то ли литовка. Какой позор!

Ходит слух, что это (по-видимому, коллективный труд малограмотных «негров от литературы»), что очевидно теми разностилевыми речитативами, которые открыты опытному писательскому взгляду) — не что иное, как спецзаказ, оплаченный во всех смыслах заранее. Но что тогда за состав там, в «верхних властных эшелонах»? И то, что

заказали и съёмки, и премии заранее, — будто бы не иначе как от самой Набиуллиной (настолько же может быть правдой, насколько и домыслом). Денег, как видим, не жалеют, а именно у неё много *государственных денег*, не счастье. Каждая из премий за такую книгу — не менее миллиона рублей. Госпремия — три миллиона. Что это — распил-раздел? Подобие «Дела писателей» с огромной суммой в десятки тысяч долларов в 1998 году за тоненькую, с тетрадь, книжицу «История российской приватизации» от Чубайса и его коллег (которые и сегодня на должностях самых высоких, в том числе и у культуры)? Но тогда были обыски, дознания — а сегодня? Насколько здоровее была Россия даже и в 1998 году!

...Поразительна всеядность нашей интеллигенции. Сколько написано и выbleвано наветов и срама на Союз, на проклинаемый уже более четверти века СССР, а ничего не срастается. Есть что и с чем сравнивать. В вов шли добровольцами и стар и млад. В том числе и потому ещё, что воспитаны были на *той* литературе, на той поэзии, на тех песнях. Теперь если воевать за родину, то едва ли и за большие деньги пойдут. Платят за такие вот «романы», затем придётся платить и за контракты военным, и как этого не понять? О качестве содеяного под патронажем уличских, рубиновых, минаковых, гришковцов, макаревичей, быковых, ерофеевых, сорокиных, сенчиных и прочих, и прочих и говорить не приходится. Удивляетесь сносам памятников по всему миру нашим воинам? Осквернения захоронений наших павших в Первой и Второй мировых войнах? А вы больше платите — за такие «книжки», за постановки из госбюджета фильмов по образцу тех же «обителеев», «кшесинских», героического образа мерзавца Троцкого-Бронштейна (в исполнении Хабенского) от режиссёров Котта и Статского и прочие изделия в угоду конъюнктуре либералов.

По многу раз на каждой странице спотыкаешься, и каждая страница раздражает несказанно. Вот идёт неграмотная, вечно испуганная Зулейха вдоль железной дороги города Казани. Видит «стопыпинский» (тоже от либералов термин) вагон. И тут же перечисляет на память (!) (неграмотная) все его параметры. Длину, ширину, высоту, даже и вес вагона... Листаж в худших традициях далёкого времени. И это — везде и всюду в «романе». Всё скоропалительно, слеplено как попало. Боже, как мы ничтожны в нынешней «либерратуре». Вирус — не наказание ли нам, беспринципным? Поразительны имена членов жюри, одобвивших премии этой книге. Толстой, наследник великого Толстого, и ректор Литинститута Варламов... И даже, прислушайтесь, В. Я. Курбатов! Восхитительно. Товарищ Астафьева, Золотусского, Распутина... Ему ли не знать, что такое русская литература?..

Как-то сразу сдались либералам сначала книгой, следом — самой низкопробной продукцией телеканалов, «псевдороманам»-новодёлам разэкраненным. Сериалы на одно лицо. Дальше — больше. И Малахов... И Собчак с Богомоловым... Свадьба в похоронной карете.

Юнна Мориц написала стихотворение, посвящённое им:

Пускай на свадьбу едут в катафалке  
Два экспоната, чьи названия жалки,  
Пускай на этой погребальной колеснице  
Они лобзаются — до боли в пояснице,  
Пускай венчаться едут эти индивиды  
Под куражом, где возят гроб для панихиды!  
Но для чего по телеящикам страны  
Всё крутятся такие звездуньи?  
А для того, чтоб видела страна,  
Что бал в России правит сатана!

«... Оглушительно звеня, летит огненно-красный, сверкающий латунными ручками трамвай, в окнах без стёкол — гроздья лиц...». Госпремия.



Москва спешащая, осенняя, яркая, задыхается в пробке автомобильной. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в листвяной опади. Складывает и напихивает в матерчатую сумку. Присмотрелся: ягоды боярышника. Горстями сыпает в пухлую, красную, точно от крови, и тяжёлую, будто картечью наполняемую, — сумку и порой нет-нет да и горстями ягоды в рот отправляет. Рот узкий, старушечий, сморщенный, словно сфинктер.

Мимо едут машины, дружно и густо яростно гудят при малейшей попытке её перейти дорогу, не дают прохода, таким ничтожным существом кажется им она, этим купчикам и поспешно обогатившимся приказчикам и лакеям.

— Глупа ты, бабка! — кричит на неё краснолицый малый из «лексуса». — Переход во-он там, видишь? Дуй туда, совершай забег в ширину. Спринтерский забег совершай. Куда ты лезешь, старая ты карга?! Чего устремляешься, как молодуха?..

И задвигает бесшумно стекло автоматическим невидимым-неслышимым моторчиком. Ему удобно, как опричник, самоуверен: пальчиком нажал — и готово.

Бабка в совершенной растерянности. До конца парка, и она, верно, знает это, — до первого перехода — километра полтора, а здесь точно не пустят. «Москва бьёт с носка», да ещё она и «слезам не верит». На то она и Москва. Вот как. Даже слезам, и тем не верит!

Старуха — в обносках, «обтёрхана», в рваньё. Всеми, как видно, она забыта. В глазах — безнадежность

и покорность судьбе. А рядом, через улицу, — многоэтажное здание, с типажом — «под немцев», приделок не русской, а их архитектуры. То есть — выделана под те современные новостройки Европы, которые сегодня стали вдруг невероятно модными. Отзеркаливают небо в бронзовый отлив намордники и окна в один цвет. Кажется, что и любую человеческую попытку помочь, улыбнуться, руку протянуть — тоже отбивает железно, неумолимо. Кажется — отстреливает механически этим бронзоватым отсветом витрин и стёкол, словно бы так танк «Тигр» или «Пантера» отстреливал бы. Только гильзы отлетать успевают, так кажется.

— ...Мне досталась молодуха лет под восемьдесят пять, — кричит ей, совершенно потерявшейся, сзади водила, да так, что старуха вздрагивает и пятится, а потом он давит на гашетку и яростно подрезает кого-то — и опять шутка, и опять попался весельчак...

А между тем со всех сторон давят на клаксоны. ...С блестящим стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, отделкой толстых чугунных наличников, Москва-матушка стала бездушной самоё Европы. На запоре наличников ослепительно: «Банк Возрождение»... Ах вы, сукины дети, — радетели-«возродетели»... опустившие богатейшую страну, империю СССР, вот этими «Совкомбанками», «Растерзай-ка-банками», и «Забодай-тебя-комар-банками». Фьючерсами и закладными.

С брокерскими продажами и перепродажами, с ваучерными аукционами, с залоговыми аукцион-игрищами и торжищами, притащившими всех нас к «кризису» и теперь убеждающими, что вот-де кризис-то — это как раз и славно! И потому-де, что будто бы «открываются для всех новые возможности». Кому, какие возможности? Тем, кто сидит на денежных мешках, уворованных у обманутого ими народа, — да, конечно... И ведь в который уже раз притащили к кризису.

И ходят теперь старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и собирают пивные банки, подъедают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить. И вдруг стало понятно, совершенно ясно стало, что поднимет и опять непременно поднимет скоро неведомая рука всех нас, да и так тряхнёт Россию, а вместе с ней и весь мир. Снова и снова, и непременно по бездушию нашему, и, быть может, — грохнет нечто покрепче семнадцатого года.

Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя, как унижают наших матерей, сестёр. Не всё молиться да пукать с сухомятки «макдональдсов» да «кей-эф-си» в импортные портки-джинсы «от китайца». Не всё лежать ничком от тоски, тускло мучиться от выматывающей безработицы да «удалёнки» самоизоляции вирусной. Все мы давно самоудалились друг от друга, оттого

и беды наши. Именно сами позволили, согласились с атомизацией — и до вируса ещё задолго, и китайского, и американского.

Что-то непременно случится, чтобы нас образумить. Общее укоренённое бездушие отрезвляет только общая большая беда.

Москва... Она всё ещё относительно благополучна, но только относительно прошлых бед...

Сатанизм центричен, и центр его — в сердцах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит сообщества, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола и так далее. Сатана полюбил общества людей ещё со времён Адама и Евы — ведь и это было «общество», и общество, с ним, с сатаной согласившееся.

Были втроём, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду во грехе их; вынужден был Он и наказать всех соучастников греха (если только можно соотнести глагол «вынужден» с великим: «Господь наш и Бог наш»).

Именно поэтому Бог противодействует сатане, он отпускает Духа Святого на скопления именно в противовес влиянию любящего общества и собраний сатане, «... где двое или трое собраны во имя Мое». Единственно (и это по необходимости, опять-таки в противовес сатане) — а Бог сам более всего силён именно в одиночестве. Как это хорошо сказано: «Внутри вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Дорофей в одиночестве возрастали и созревали до Бога...

В одиночестве созидается душа, а разворачивается в толпе.

Москва (городские центры, областные города), как видится, — во всём её множестве неисчислимом (людей) — ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры» — не слушая ближнего своего, поют для себя.

И в то же время нигде так не одинок человек, как в крупных городах — в Москве, Питере, Екатеринбурге, протестующем против постройки храма (негде будет с собачками гулять!). Одиночество в толпе — это не когда ты один, а это когда хочешь, чтобы услышали, — и не слышат. И собачка не собеседник сердцу. Почему же не слышат? Сатана не даёт. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает. Ссорит, сталкивает, сравнивает, взывает междоусобную брань и зависть. Разделяет и властвует. Спешит и кривляется. Показывает противоречивые фильмы, сталкивает фанатов. Тех, кто за «Навала» ветхозаветного, и тех, кто против. И в наши дни «Навала»... Сталкивает за него и молодёжь, и опытных...

...Одиночество, аскетизм, паче — исихасты-молитвенники, — они все в себе, в своём мире пребывают. Истинном, Божиим.

Вот почему сам Христос так часто спешил в уединение. Даже от апостолов.

...Я стучался с девятнадцати лет в московские художественные журналы со своей прозой и со стихами, и, кажется, было с чем. Окончил Литинститут, опубликовался в Германии. По проторённой дороге многими «через Запад», потому что в СССР тогда ещё платили хорошие гонорары, ценили труд писателя, и оттого процветали кумовство и «взаимопомощь» в первых, во вторых и в третьих разрядах писателей... И вот, через Германию, — едва-едва удалось добиться цели, опубликовали во многих журналах России лишь к тридцати моим годам. Затем и в журналах Беларуси и Казахстана, и во многих других, кроме близкого (о ту давнюю пору), давнего, на Старом Арбате, ещё М. Алексеева, затем В. Крупина, затем «бородинском», — журнале «Москва»...

Ходил один и вдвоём с Олегом Павловым. А напечатали в «Москве» только... в 2023-м. Всему своё время, как видно. Теперь жаль себя прежнего, молодого, наивного и доверявшего обещаниям секретарей и редакторов. Тогда была уже, по сути, потеряна вера в то, что свои, русские, и вообще — читают рукописи «из потока». Совсем не то народ «малый», внимательный, сплочённый и дружный. Они и прочитают, и пообещают. Нередко даже и сдержат слово. Но — на совсем ином уровне, на уровне ничтожном, ни к чему не обязывающем, или если ты «русопятаый», действительно выгоден им для задуманного ими дела, о котором ты сам и понятия не имеешь. И если ты «не их», не принадлежишь их сообществу на уровне разрушительном, тайном. Так в начале девяностых «Юность» В. Липатова, Барметова в «Октябре», А. Марченко в «Новом мире» опубликовали мои рассказы — и тут же прекратили их, убедившись, что они не полезны делу антирусского либерализма и всеобщей глобальной «демократизации». Даже вот и Большое Болдино с его пушкинианой... Премия в виде медали из серебряной скани и первое место в международном конкурсе — «Живое слово» Нины Зверевой, — и ажурная серебряная медаль с профилем Пушкина, вручённая на международном фестивале, ценное теперь как память «Казаковское художественное изделие» тоже имеет свою ценность и некое пряное послевкусие в сравнении с моими поисками места в русском нашем биваке...

Помню салют и бал с переодетыми дворяночками, потом вечер с цыганами в ресторане. И — большую, во всю грудь, от... В. В. Познера медаль. Он лично будто бы, как сказали впоследствии, выбрал из огромного списка «лауреатов». Значит, читали и отбирали. И вот ловлю себя на мысли, что

так поставлено дело, что импонирует этот «другой берег», затягивает. От поездки на два месяца по приглашению радио «Дойче Велле» — до... нынешнего дня. И всё у них схвачено, все премии крупные по-прежнему у них и для них. Вот он, «другой берег». И — да, там читают, и печатают, и пробуют поддержать отношения. А почему, собственно так поставлено дело? Ведь на дворе 2023-й уже год. Зачем я им, если меня «свои» не взяли? А как же «наши»? Помню, как однажды, в тех же девяностых, я так поговорил с К. Кокшенёвой, что, выйдя на Старый Арбат (да ещё и памятуя встречу с М. Алексеевым, пряничным писателем-генералом от литературы), выбросил свои рукописи в урну. Леночка Устинова, тогда молоденькая, почти прелестная, в алых прыщичках на подбородке и щёчке, курия с Капой одну за другой сигаретки, что-то говорила неличеприятное о моей рифме, «теме»... И мягко этак, ненавязчиво они советовали, как и что мне писать... Одна — в прозе и публицистике, другая — в стихе и поэме.

И как странно устроено наше сообщество, что русскому рассудку в нём нет даже места. Если выплывешь на другой берег — и руку подадут, и просушат одежды, и поставят на службу. Себе. А по эту, русскую, сторону — никому не нужен. Сколько видел я подтверждения этому. Едва ли не на грамм дара, а его уже привечают, и стипендию оформят, и отзвонят везде, и перезвонят, и ждут его, и встречают. Почему? Он свой. Некими таинственными знаками, по рукопожатию ли, по ногтю ли на мизинце, — распознают того, кто работает так, как указано. Кем? Серой фигурой, магистром, кардиналом невидимым... И можно проследить разделение едва ли не с пушкинских времён, и особенно даже в литературе. Борьба русофильства и западничества — лишь следствие. На годовщине Гоголя чувствуют... юбилей Жванецкого. И какой праздник! Сколько жара и холода, прекрасных слов и света. И рампы, и аплодисменты, и вот он, косоватый, кривоватый, поигрывает коленочкой. И юморит, и юморит, и полные залы. Но как зло, по-нерусски, даже с ненавистью к человеку, созданию Божию. А сколько внимания тем, под кого приструганы «тотальные диктанты»! Тотальные, заметим! И все пишут, вся Россия, диктант под невыносимо неловкие, нелепые, бессмысленные фонемы, подобно тому, как если бы нагромоздить саклю на верблюда у Стены Плача, — бессмысленные словесные периоды. И Мише Таничу аплодисменты шумные, словно льющийся вихорпад. И Губерману с его признаниями: «Я делаю деньги из воздуха, чтоб тут же пустить их на ветер», — и всё-то юморок о заднем, переднем и половом... А Розенбаум? «И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин...» А Рубальская: «Напрасные слова — виньетка ложной сути...» Граждане

страны Россия, ну послушайте внимательно, что читает ваш Жванецкий на юбилее Гоголя. Ведь это неестественно. Ведь этак цинично разве что в бараче «шестёрка» развлекает «туза». А разве нет? И песни таковы же нынешние, как если бы шутила «шестёрка» перед нарами пахана, приплясывала и пела, — тот же уровень. Или Шевчук: «Полетела... Чуть поела на столе...»

И слушаем, и читаем. А Михаил Алексеев, а Леонид Бородин — читали то, что обязаны были прочитать «по профессии» и по обязанности главных редакторов, и обещали прочесть? Не уверен. А вот Нина Зверева и В. Познер — прочли... Мы необратимо, безвозвратно проигрываем, проигрвали уже. И это видно по всему: по тому курсу нашего корабля, куда все следуем...

И вот выходит под занавес на конкурсе «Живое слово» в Б. Болдино (и Пушкин теперь приватизирован?) — выходит под занавес Дима Быков. Под салют — его лицо то вспыхивает, то сереет. У него на ладони огромный бокал коньяку. Сигара во рту такова, что не всякий презерватив на неё натянешь (не подумайте, что жаркая, а такая толстая)... И оттого нерабочие ручки его кажутся ещё меньше. И он запальчиво вещает то, за что, применительно к Западу, его бы четвертовали там. А у нас хлопают...

... Или вспомнить, сколько раз и когда праздновали годовщины жизни и смерти русских писателей, поэтов, даже великих (по сравнению с пришлыми народцами, притащившими сюда своё «искусство»: безверие и хохму, но и вежливость, и исполнительность, и верность обещаниям...). И всё станет понятно.

И вот сегодня, грустным Великим постом, в одиночестве, я думаю: а сколько же надо стучаться к Богу нам, чтобы апостол открыл наконец двери? «До самая до смерти, Марковна...» — всё так же? А и вера — тоже так случается, что и она убывает. Убывает вера и в свой народ, и в сам тайный, сакральный смысл бытия, и в предназначение русского слова и дела, как «званого на пир»... Национальная премия по литературе — какой национальности у нас? А «Букер» какой был, забытый теперь? А премия Солженицына? А премия Гончарова, выданная в двадцатом году всё той же «канарейке»-эмигрантке давней. Чем же она похожа на Гончарова? Носом? Стилем? А пять премий «Зулейхе»? «Не поеду в Россию, пока там сидит Троцкий», — сказал как-то С. А. Есенин и был казнён. И вот Прилепин оправдывает «самоубийство» затравленного поэта. И вот «Циники» Мариенгофа с его подачи и «Роман без вранья», а точнее — «враньё без романа», снова в цене, снова реанимированы? Нет, великой России до семнадцатого года нет и не будет никогда. «Улетели журавли, барин...» — как в рассказе Бунина. Улетели. И разделение на «бар» и «советских» ложно, вымучено,

безнадёжно. Всё убывает и улетает с годами. Даже вера в «своих»... Труд и творчество, тот интерес и целеустремлённость, с которыми входит в эту жизнь новорождённый ребёнок, — несопоставимы по усилиям и напряжению ни с каким творчеством повзрослевшего, уже устоявшегося в этом мире. Несопоставим ни с каким искусством, ни с усилием взрослой жизни. Все, даже и независимые, или мнящие себя таковыми, — ждут утешения среди своих, как бы ни форсировали они «независимость». Все зависимы, если живы.

Радости коротких вспышек озарения мало. Кто-то — ищет признания, кто-то — ищет забвения. И в работе со словом. Остановить катящийся вниз камень Сизифа невозможно. Ждать от жизни счастья впряме — только новорождённый, осваивающий мир вокруг ребёнка... Он впряме надеяться. Легко жить. Вот так же и в работе. А что же получает взрослый творец за свои ожидания? Получает кровавый труд, затем — опыт разочарования, тяжесть камня Сизифа ломает кости, и редко очень — признание. Но тот труд и кровавые раны, синяки-шишки, с которым мы начинали жить, — не обещали ли они и сами по себе, и... благодать, и прощение? Эта боль жизни, когда больно жить, жить больно... Само по себе состояние боли и противостояние её власти — не суть ли, не залог ли спасения?

Терпи — и спасёшься! «Бессмертья, может быть, залог», — как точно сказал об этом Пушкин в поэме «Пир во время чумы»...

...И вот он скоро, «кризис», да ещё мировой. «Пандемия», несомненно, предшествует скорому кризису и даже для того и запущена. Спорят: так как же, пандемия это или нет? Помнится, у одного монаха спросили после событий переворота в феврале: «Протоколы сионских мудрецов» — провокация или подлинность? Он ответил так: а какая разница, мы видим, что всё именно так и сбилось. Вот и здесь то же: модифицированная с участием компьютера «испанка» случайно или намеренно прорвалась сквозь все барьеры биологических лабораторий, — какая разница? Цель очевидна.

Павел Андреевич Воробьёв — доктор наук, профессор — утверждает, что нет, это не пандемия. До пандемии будто бы не дотягивает. «За вакцинацию отвечает Роспотребнадзор, а не Минздрав, — говорит он. — А откуда мы ответа не получаем. Вакцина — это живой, либо убитый возбудитель, либо его части. В том препарате, который прививают, этого нет. Это генно-модифицированный вирус, на который насажен фрагмент другого вируса». Прививка — и всё это поступает в клетку. Там он размножается и выделяет ковидные частицы, которые затем

обуславливают появление антител. Такого препарата мир не знал и не знает. Это абсолютно новый препарат с неизученными последствиями, которые невозможно предусмотреть. Академик Чичалин вышел из состава комитета по этике, а он был председатель. Без этической оценки нельзя прививать, он не проверен. Стандарты оценки тоже не озвучены. Академик Гундаров спрашивает: только ли по этому препарату нет стандартов оценки? Их вообще нет. Английская организация «Найз» не оценивает эту вакцину вообще. В этом есть недосказанность и по политическим мотивам, несомненно.

«Люди бегут из медицины, они выгорают на работе не только с ковидом, но и в результате недавней „модернизации“, сокращений. Вирусологов, например, уменьшилось в десять раз. Как и эпидемиологов, и инфекционистов. Говорят, что привитые этой вакциной перестанут болеть. Но это абсолютная ложь. Может быть, как говорит академик Мурашко, привитые будут легче переносить болезнь, но это резюме — ни на чём не основано. Испытуемых было двадцать — двадцать пять. Уверенные, что прививка спасает, привитые вакциной будут разносить болезнь ещё чаще, ведь они уверены, что недосыгаемы для инфекции: они привиты. Это негативное явление. В „Ланцете“ вышла статья о спасительной прививке от Гинцбурга, а потом, в следующем номере, пошли поправки: что считать этим, а что — тем, цифры меняют произвольно. Такого прецедента в научном мире не было. Считать строчку в такой-то таблице, очистить от такой-то и прочее, и прочее... И это в „Ланцете“! Испытания прививки закончатся только в марте. Значит, к июлю кое-что проявится. Почему прививают непроверенной вакциной? Да просто нас запугали, объяснили, что пандемия. Но цифры пандемии совсем иные, её нет. Пандемия — принято считать — это от одного до пяти процентов населения, заболевших в короткие сроки. Таких цифр нет, а ВОЗ — поменяло определение, объяснив, что пандемия — просто „вспышка инфекции“, но так нельзя. Есть выработанные формулировки. Это наука. Вакцина не снижает заболеваемость. Препарат не исследован. Профессор Гундаров говорит, что есть острое осложнение, есть отсроченные осложнения. Вот про отсроченные-то мы вообще не знаем ничего. Встраивание вакцины в геном рнк, а у нас есть механизм обратной транскриптазы, который считывает рнк и переводит в днк. И происходит встраивание и в геном митохондриальный, и в геном клетки. Про это ничего до сих пор не известно. „Спутник-Ви“ не гарантирует, что у нас не поменяется что-то в геноме. Хотя известно, что половина нашего генома — это вирусные частицы, но мы живём и с этим. За миллионы лет они к нам „присоседились“, и это тоже не изучено, и мы не

знаем, что они там делают. Но когда мы вводим что-то новое и это новое может появиться в том же геноме, у меня масса вопросов к этому...» (Конференция с П. А. Воробьёвым. Научно-общественный круглый стол от 18 февраля 2021 года. Вопросы задаёт Мария Шукшина.)

И — ещё... Будто бы необходимо было неким силам встраивать Россию в некий мировой порядок, тот, что так подвержен всякого рода «кризисам». Мало было России «приватизации», которая сделала из ста процентов хозяев своей страны — девяносто девять процентов — и не просто работягами, а рабами. (То есть почти все бывшие, освобождённые революцией семнадцатого года, «проходившие как хозяева» просторами «необъятной родины своей», те, которые и не знали никакой «другой страны», такой, где «так счастлив человек», — они вновь стали батраками. Да ещё и потеряв при том и все права на страну, и все свои накопления от всей прежней трудовой жизни. И свои, и своих родителей, потерявшие в девяносто первом в одночасье всё (в противовес банкирам, знавшим заранее о спланированной девальвации, о курсах рубля и подлинной «цене» ваучера.) Но и этого мало. Кризис после вируса с непредсказуемыми дальними и страшными ближайшими осложнениями — всё это обещает новый передел мира, направлен на это, — но теперь уже и между банкирами самими, и олигархами, а это никогда не осуществлялось без войн. Мелкий и средний бизнес за год болезни «коронавирусом» — (намеренно) необратимо отсечён.

Итак, пирамида жизни и существования — перевернулась и рухнула, раздавив за эти тридцать лет более тридцати миллионов русского населения, умершего от недоедания, отсутствия медицинской помощи, волнений, по причине отъёма денежных средств, скопленных за всю жизнь. Без счёта сгорело от отравлений «палёной» поддельной водкой от палаточников-мошенников, «бутлегеров». Сколько-то уцелеет теперь? Ближайшую перепись населения, вероятнее всего, отменят. В самом деле, кому сегодня выгодно знать правду? Есть данные, что в России уже сегодня не более шестидесяти миллионов человек русских...

То, что с Россией обходятся вовсе бесцеремонно, люто, — стало ясно давно, с развала СССР. Невозможно представить такого безвозмездного отъёма и грабежа ни в Европе, ни в Америке. А на нравственном и духовном «уровнях» потери сопоставимы. Пасха Христова совпала с парадом девятого мая в сорок пятом. Ещё совпала на праздновании шестидесятилетия на параде в честь Победы в Великой войне. Парад Победы в честь шестидесятилетия окончания Великой Отечественной войны. Победы, которую так силятся отнять и перевернуть, смешать в кромешное (уже с 2005 года), даже и с репарациями пытались

отнять — и кто? Эти «поражённые в правах» страны-лилипуты, страны-флюгеры, и все их знают, и они отчётливо объявили свои претензии и требования. По многим статьям. Жили сыто и устроено, воевать с нацизмом не желали. Страны эти с «гулькин нос» размерами и несопоставимы не только и не то что с провинциями России, а даже порой и с областными городами.

А тогда, пятнадцать лет назад, в 2005-м, многие главы союзных республик отказались даже приехать на празднование юбилея на Красную площадь в Москву. Они считают себя обиженными. Они будто бы унижены — и кем же? Разграбленной теперь и обесиленной санкциями Россией. Они хотели бы большего от России. Денежных компенсаций, увидеть саму Москву на коленях. Так тянули беспощадно и тянут из того остатка Союза, который считают они причиной их нынешних бедствий, что требуют: выплат, компенсаций, возмещения всяческих ущербов за то, что их спасли от истребления «фюрером».

И Первой, и Второй мировым войнам предшествовали «мировые» кризисы. Верно, теперь Россию многие были бы рады числить в своих должниках, и всё ещё числят де-факто. Иначе отчего бы с самого «верха» — из Белого дома, из Америки — сообщать на весь мир, что Россия незаслуженно владеет Сибирью? Что богатства её «непропорциональны» богатствам стран и территориями «другого мира»... Известно, пешего ворона и галки дерут. И при том — какие амбиции, какая смелость, какая тяга к «справедливости» от поляков, латышей, эстонцев (так они её себе представляют, справедливость)! Европу освободили, и этого она не прощает и не простит.

И как же они видят будущее, страны-лилипуты? Или опять это от Троцкого: «Задерём подол аташке-России»? И на что нацелены «санкции», атаки? Цель всё та же, как и в семнадцатом — после переворота: взять в концессии, как при Троцком, всю Россию и вывозить иконы, пушнину, золото, хлеб, редкозёмы, лён... всё, всё. И при том совершенно даром и безнаказанно. Концессии, составленные в сговоре с Западом и Америкой Львом Бронштейном и разорванные Сталиным, — мы забыли. Новое — хорошо забытое старое. Вероятно, придётся России поработать опять, и с небывалым напряжением и невероятными потерями. Да ещё и среди искусственного вируса, «испанки», насаженного на геном. Вот нам и Великая Победа над фашизмом. Победа — страшными жертвами трансформировалась. Фашизм просто переименовался в глобализм. С удивлением вижу по тв даже генералов, которые по-прежнему... ругают И. В. Сталина (некто Решетников и прочие). Хочется сказать им, что их бы просто не существовало теперь. Питер стал бы Хиросимой, а Москва — Нагасаки (или наоборот).

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Овраг по Ярославской дороге, станция Клязьма и посёлок вдоль одноимённой реки. Крутизна к реке почти отвесная. Шёл вдоль реки, по-над этой крутизной, а внизу — хрустальной свежести источник, освящённый в честь иконы Матери Божьей Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти, в котором сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струей, рассматривал. И я смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил и присел. О чём может так напряжённо думать или мечтать малыш девяти лет? И вот — так остро, до боли остро, почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники — и я, и он, и вон там вдали — те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряжённо-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, чистом... Бытия с кем? С Богом? И вот теперь до саднящей кручины мы ощущаем своё сиротство и печаль по какой-то иной, истинной родине, которая кажется невозвратимой, кажется сущей далёко-далёко, где-то в иных мирах, тех, которые так отличимы от этого и так несравнимы и неспособны, что представляются нам с возрастом земные злчные места — противоположными тем. Даже и отдалённо — не напоминающими те, иные пределы, коих мы были некогда, и по всему вероятно, достойны. И с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная, грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприятно нависали над крутизной обрыва, двигали стволами и скрипели. Канадские срезанные клёны в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные — словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и святого источника. Иные — жалобно выставив дупла своих сучков — угрюмо показывали их мне, эти чёрные дыры — следы ежегодной обрезки, — как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям — и то не благо здесь, на земле», — так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью... Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омрачённая на этой уютной, строгой и равнодушной ко всему земле, — на этой холодной и пустой планете, — эта радость встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы её за все богатства мира. И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они — с Тобой и у Тебя.

И какова будет встреча наша с Тобой? Ведь все мы суть лишь печалинки и лишь горчинки по тебе. Хоть и сами так часто не осознаём этого. Мы все-все дети Твои...»

Невыразимо-прекрасное небо весной двадцать первого года. Но есть и что-то грозно предупреждающее в этой красоте. И при постоянных ветрах, движении туч и облаков. Белоснежные на грозном жёлто-зелёном фоне, они постоянно бегут, и встают, и вновь волшебным образом возникают самыми причудливыми очертаниями, меняются в столпах света и солнца рядом — то с чернильным небесным пространством, то — индиго. И вот они идут-движутся и стоят недвижимо: те, что вверху надо мной, — быстрее, те, что вдали, — медленнее, и от этой их медлительности кажется, что — текут они в другую сторону. Получается, что облака и тучи кружат и кружат. И так — и неделю, и две... И всё это время, ежеутренне, — красный, пылающий, грозный закат... Затем — опять жёлтый, палящий, с высоким индиго, — лимонный поздний восход. И над всей этой пышной красотой — красный уголь солнца. Сказано в Писании, что когда смотрите на красное солнце и говорите: завтра будет холодно... И как истинно-страшно это: «... Маловеры... Знамения солнца умеете понимать, а знамения Духа — нет...» И кажется странным, невозможным, кажется нелепейшей выдумкой, как можно заразить это небо, этот мир Божий каким-то вирусом, невидимым, незримым и который невозможно осязать, обонять, видеть... Каким-то подобием радиации. Неужели кто-то осмелился покуситься на это намеренно? Немыслимо дьявольская затея.

Работаю со словом, пишу теперь мало, и всё меньше и меньше, исключительно для себя. Где-то в письмах — эпистолярной десятитомной — Алексея Толстого сказано так: кто же станет писать на необитаемом острове, если будет знать доподлинно, что никто и никогда не прочтает его рукописей?.. Никто. Только сумасшедший. Вот я такой сумасшедший и есть. При СССР, сетуя на цензуру, «диссиденты» жаловались, что работать над рукописями можно только на перспективу, писали в стол. Теперь нет смысла и в стол складывать. Мало у кого из пишущих ныне, если пишут они не детективы и не фэнтези с «лопаданцами» в иные миры и иные измерения, — мало у кого из честно пишущих и не прогибающихся под нынешнего невзыскательного читателя есть перспективы напечатать книгу. Если он не богат, а богатых, «с полной мошной», честных писателей я не встречал. Зато пыльным, махровым венником

расцветает бульварщина, любовные романы секретарш и бездельниц-любовниц хапуг — их мужей... Всё испоганено бесцветной лабудой, так что найти хорошие строки и правдивые переживания — удача. Беда в том ещё, что девять десятых из читающих не способны отличить художественную литературу от поделок и подделок. И это не их вина. Вкус начитывается десятилетиями. Даже и образование не гарантирует «вкус». Даже филологическое образование.

Взята намеренно планка на понижение вкуса, на унижение народа, самой души народной через книгу поддельную, ещё чаще — через пафос, ещё нередко — «сусальной верой». И на каждом шагу — через театр, кино. А фильмы, эти сериалы на телеканалах (действительно «каналы» (!) сливные) — со стреляющими из всех видов орудий и оружия дамами, бьющими в челюсть с ноги, безжалостно и бессовестно по-обезьяньи лазающими по фасадам домов и сваям мостов — несомны. Обязательно в обтягивающих одеждах, обязательно в содружестве с влиятельными и самыми догадливыми следователями и с бандитами — и одинаково выставляют их. Зачем? Кто-то видел, как стреляют в тире сударины? Даже опытные? Я вижу постоянно... Это даже не смешно. Жизнь давать — у них лучше получается... чем отнимать её.

Понятно, что великие произведения рождаются и находят читателя — стихи и песни, проза и музыка, театр, настоящий, а не «Гоголь-центры», — когда идёт великая созидательная работа. Или отечественная, в защиту Родины своей, — война. Когда же торжище и гвалт на торжище, непрекращающийся гешефт и вместо великих фигур созидателей являются караси, способные купить что угодно и кого угодно, — им не нужны ни литература, ни песни, ни театры. Великое — оно всё о совести, сердце, чести, любви... То есть не помогает красть, а мешает. И вот писатели упрекают власти в наши дни: нет поддержки, нет внимания. А если есть, то внимание самой пошлой, гадкой стороне — человеческим экскрементам. Понятно почему: эти, такие «писатели» хоть не устыжают ворьё. Или биографии строчат, или про колдунов либо вампиров. Или про предателей века и величайших подлецов, по сравнению с которыми наши-то — вполне ещё терпимы... кажутся. Не жаловаться, а радоваться бы: хоть не пытаются в застенках.

Чужая власть отчуждает народ. И вот уже театралы, «режиссёра», ставящего гадко Достоевского, где женщины играют мужчин, прекрасные персонажи с великим сердцем, как сам Достоевский, — у него гады и гадёныши. И он, всячески стремящийся потрафить вкусу этих молодых, народившихся уже с гаджетами манкуртов, даже он — в обращении к нему молодёжи — назван

«бумером». Кто же таков теперь «бумер» на их сленге? Это отсталый, потерянный мамонт. Перестарались... потрафлять этой новой породе, этим инопланетянам в человеческом образе. Кто они? За недавний рассказ, напечатанный в журнале «Гостинный Двор» в Оренбурге, — меня отругал даже свой брат-писатель. В рассказе речь от лица девочки пятнадцати лет, речь о её судьбе в девяносто шестом году. Он заявил мне: «Такого не бывает. В пятнадцать лет девочка-подросток — это уже хитрая и корыстная баба... А у тебя — наивная целочка». А он ровесник мне, ему за пятьдесят. Выходит, не мы молодёжь, а молодёжь нас, писателей, перековала под себя.

Недавно каким-то чудом открыли дневники Иоанна Кронштадтского. Дневники эти писаны им тоже «для себя». И писаны так: предложение на немецком, потом на английском. Потом — по латыни. И так — на пяти языках. Святые не хотели, чтобы современники их прочли. Они тоже, как и я теперь, писали для себя, для своей души, внимая, «внутри — имая», в себя, ибо «внутри вас есть Царствие Божие». Меня же томит неуслышанность. Почему? Потому что я не святой. Потому ли, что я так и не отыскал это Царство внутри себя, и оттого эта одиночество и надежда, пусть и слабая, быть услышанным?.. Не одиночество, а вот именно — одиночество... Дни нашей жизни. Они похожи на дрящущее похмелье. И как похмельный ищет вина, чтобы опять очароваться нелепыми мыслями и видениями — отравить себя, свою душу, так и мы, живущие, жаждем жить. Мы ждём всё новых и новых дней, которые будто бы принесут нам новые впечатления и события, заставят забыть прошлое — освободят, откроют новое. Но одновременно сознаём, что и события, и покупки, все эти поиски праздника жизни, смена действий — всё это самообман и ничего кардинально непохожего на предыдущее — нет и быть не может в принципе...

Как прав А. Толстой, «красный граф», умнейший человек: кто же станет писать на необитаемом острове?

● ● ●  
Похмелье жизнью не отдалить и не оставить. Каждый жаждет жить и иметь. Но едва ли не у каждого — у одного раньше, у другого позже — наступает отравление. Навсегда. Навечно. И если взглянуть бегло, то и внешне те, кому за сорок, — даже и непьющие — кажутся с похмелья. Вялая кожа, потухшие глаза. Неизлечимо. Их похмелье — к концу, а они всё ещё живут большей частью для внешнего человека, внутренний же забыт и измучен.

«Внутренний человек» — единственно только и предназначен для Царства Божия. И вот

прокатывают жизнь на шикарных машинах, просяживают в дорогих ресторанах, кутаются в собольи шубки, ищут, чем бы себя порадовать. Но радость недолга... Часто так и до самой смерти не подзревая, что насытить, согреть, напитать и обрадовать человека внутреннего можно лишь совершенно иной пищей, иным бытием в идеальном мире, но он им неведом. Мы все больны и очарованы жадной наживы, ошельмованы жадной влияния, желанием нравиться и излучать успех. Мы убаюканы этим миром. «В мире скорбны будете...» — сказано будто не нам. А убаюканы, не растём духовно — вот и войны, вирус, кризис, потрясения частного характера, ветшает тело, уходит здоровье. И спохватываются поздно. Чаще — и вовсе не спохватываются. «Проснись, мир человекоек»... «Помоги временного жития этого ночь перейти», — сказано в пятой молитве Василия Великого. И как точно!

«Кто внушил тебе, что жизнь всякого человека — такая драгоценность, „подарок“ от Бога?» — как-то с сомнением и иронией услышал я вопрос своей совести, с потаённым сарказмом, — точно спрашивал меня некто. «Играй-живи, — говорили древние, и Эпиктет даже, — а когда пройдёт интерес, можешь уйти. Дверь открыта, никто не держит...» И вот я разговариваю с одним, вторым, третьим своим попутчиком — и ни у кого не нахожу болезненно-нервного ощущения зряшности этой жизни, нет сознания беспечности уходящего момента, — того самого ощущения, что так присуще мне. Почему? Они живут без запросов души? Не нахожу и отдалённо того, чем мучаю себя я сам. «Глупости, — опять словно услышал я, — никто никого не держит. Дверь открыта...»

Утро. Крепкий вояк с красным лицом, бывший директор завода, разворованного теперь и сданного под склады и в аренду, прогуливает возле дома доbermana. И вот — поразительно пустые разговоры его со мной: о кошке, о работе в горячем цехе, о его, вояка, перевязанной руке, которая заболела в самый неподходящий момент и которую, быть может, надо в гипс, а уж на рентген — точно. И опять — о еде, о ценниках на еду, и всё это бесконечно, и никак не уйдёшь. И вот приходится кивать, подыгрывать, выслушивать «в глубину» существо вояка, да и не его одного. И ведь девять десятых живущих рядом со мной — именно так, на таком уровне, живут всегда, до самой могилы. Два часа он гулял с собачкой — и никаких угрызений совести, что транжирит жизнь, Богом данную. Отчего же у меня — так до болезненности остро это ощущение: пустой траты бытия, бесценной жизни, дарованной каждому, и мне в том числе, времени

отпущенного, муки за пустоту, — и за которую придётся отвечать? Словно во мне заложено что-то, что нужно непременно выполнить, успеть, и этот неотработанный долг мучит. А время идёт. Или это просто гордыня? Вид гордыни?... Как найти покорность истинную, стяжать смирение? Как понять своё, поставить парус и плыть? «Положись на волю Божью, и дела твои свершатся в срок», — а это откуда? Нет, это уже не «некто». К Нему, к Его голосу стоит прислушаться.

Случайно включил и просмотрел небольшой репортаж американцев о больной женщине, которую лечили и оперировали врачи-хирурги, лазерными скальпелями исправляя врождённый её недуг — порок головного мозга. Они были вынуждены на несколько часов отделить голову от тела, искусственно питая и мозг, и сердце. Не знаю, можно ли верить этому, как высадке американцев на Луне. Но дело даже не в этом, а вот в чём: Джойс писал своего «Улисса» — почти слепым, Кафка — был нервнобольным, и не только нервно, Мопассан в конце жизни превратился из красавца-гребца в сумасшедшее животное. Он не выдерживал даже дневного света. А Акутагава Рюносукэ, а Марсель Пруст?... Но всех их объединяет одно, а именно то, что когда они писали — они были счастливы. Дело в том, что счастье — субъективное понятие. Одним — оно, скорее всего, видится, по сути своей, заурядным, вялым и тем желанней, как вода в болоте жабе, и поэтому многие, прожив этак, — так и не поняли, что они жили счастливо. А ведь это истина, и далеко не всем дано в жизни телесной насладиться безмятежным счастьем обывателя, и ещё того меньше — счастьем творчества. А главное — понять, осознать то, что прожили — и было оно, счастье. (Сытый боров, лежащий в грязной луже, тоже по-своему счастлив.) Ну так что же, ведь много и иных-прочих. «Ну так что же, ведь много прочих, не один я в миру живой...» — в стремлении к самоуспокоению сказал однажды молодой, самый, быть может, несчастнейший из людей, запылавший уже и к тому времени «розовым огнём» славы. А нам он кажется и сегодня счастливецом: и молод, и талантлив, и красив был. Жизнь его вошла в легенду. А ему самому эталоном казался Пушкин: «Стою и говорю с тобой... Я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе»... А кому-то А. Рембó. А кому-то актёришко, сыгравший Рэмбо... «Первая кровь»... Так здоровый человек смотрит на муки оперируемого — и в это время сам не может быть осенён даже сознанием счастья (хотя бы удовольствия от своего собственного здоровья). А что его волнует в это время? Возможность крупного ценового падения его акций на бирже? Ревность? И прочее,

и прочее... А где же счастье? А счастья нет — и не было. Самое высокое счастье, доступное здесь, на земле, — здоровье, творчество и жизнь в духе. «Тело — не более ли одежды, а душа — не более ли мира?» Женщина, прооперированная так сложно, когда очнётся, будет ли счастлива? Почувствует ли она себя счастливой — вот вопрос.



Два друга, встретились.

— Я слышал, ты женился?

— Женился. Как на льду обломился.

Вздохнули оба:

— Это да... Один женился — с головой пропал, другой женился — свет увидал. Знаешь армянскую поговорку? «Жена может создать дом, да такой, что и шайтан не создаст. И разрушить такой дом, что и шайтан не разрушит...»

Расходились они, прощаясь, тоже в глубоком раздумье.



Мука да вода. А взболтал, посолил — и в печь, и вот уже и хлеб. И есть в этом хлебе от самого Бога.

Плотяное, созданное, сотворённое Им из милости к человеку — хлеб... Тело человеческое — со-тварно глине с водой, а тело Христово — хлеб и вино, преосуществлённые, претворённые от Духа и самим Духом. Такой глубочайший символ в причастии.

В хлебе — для человека плотью, и растворим (в крови Христовой) — в вине, в потире само существо жизни. «Я — хлеб жизни» и «источник жизни». Кровь — вино от щедрой лозы. Так и отдельное: муж да жена — есть только тогда одно, единое и могут назваться людьми, одной плотью, когда в течение жизни взболтаются, смешаются, взойдут от малой закваски, как вода и мука, как вода и глина, — когда переживут, перетерпят многое вместе, станут не просто водой да мукой, но тестом ужé, но и печью жизни самой, обожжённые единой плазмой. Не глиной (прахом), но телом человеческим, муками страстей и искушений сочетаемы. Не просто со-тварны станут они, а в Духе — едины. Но как трудно, и какова работа на протяжении жизни всей. Не меньше труда монашеского. А если и дети ещё...

...Вот где величайшая из тайн нашей Церкви и смысл и упования, и надежд мирян. Спасение возможно не только в монашестве. И тогда труд — во спасение и для воскресения. Растворение телесное — посмертная участь. Сочти так: здесь, на земле уже, — и осмыслиется сердечно тайна бессмертия нашего. И питание от Бога — тела человеческого, и то, что поддерживает в нём жизнь

физическую, — и здесь тоже проявление Божией Любви к человеку.

И питание, вос-питание детей — есть уже тоже сама Любовь, питающая тело и душу семьи во всех отношениях, проявленная. Вот отчего, как предупреждение человеку, — именно голод предшествовал большим бедам на этой земле. И отказ Бога питать человека — тоже. Множество примеров тому.

...В период Возрождения из истории в Европе, и в тот же период — и у нас, и в Европе: именно падение веры и, как следствие, голод предшествовал большим бедам. И то, что на Пасху 2020 года само причастие, духовное питание мирян, было пресечено по причине «коронавируса», который, в сущности, не нов и изучался ещё с 1978 года в медицинских институтах, вузах при СССР, но чтобы запретить и причастие само — такого не было. И всё же не сам ли человек отказался от причастия из-за боязни заболеть, соглашаясь с «указивками»? И закрытые храмы на Пасху? И високосный год здесь вовсе ни при чём. Мы знаем примеры, когда цари входили в чумные бараки — единственно поддержать силу духа солдат своим присутствием.



...Едешь по России далеко и долго, и кажется, что вся — на старушках да на бабах стоит. И так стоит, словно держится последний свой срок. Проезжаешь глубиной — и диву даёшься, как деградировало, как упало всё. Кажется порой, что и не в подъём уже. Сгнуло в первую голову село. В большинстве своём по тв всё одно и то же: «Ставрополь накормит, и ещё за кордон продаём», — но так ли это? И как нелепо звучат эти слова, когда вспоминаешь тот СССР, с его городами — элеваторами, его фермами, компостными ямами, заводами-пекарнями.

...Кировская область, Оренбургская, Рязанская, Тверская... Везде был, и как не вспомнить с тоской невыразимой те хлебные резервы и запасы, которые существовали в Союзе? Скажут: качество хлеба было не то, было парадоксальное и неоправданное земледелие средней полосы. Но хлеб и сажали для фуража в основном в средней полосе, для скотины и комбикормов. Теперь поголовье скотины в десятки раз ниже. Второсортная пшеница, рожь, овёс стали не нужны — как следствие. Тем более поражает обилие колбас и молока на прилавках магазинов сегодня: откуда? Единственный вывод: многое — поддельное или завозное. В Германии чистые продукты очень, чрезвычайно дороги, а «милк» (млéко) — особенно. Помню, как был удивлён, когда сам я в Берлине, в Мензе (столовая), взял однажды общий набор продуктов на поднос, но вместо «оранжен сафт»

взял стакан молока в триста грамм... и заплатил вдвойне. На мой удивлённый вопрос толстоногая молодая немка расхохоталась и объяснила просто, махнув рукой на пластмассовый стакан на моём подносе: «Милых!» Я понял тогда, что если стану и на будущее набирать вместо сока и компота молоко — не дотяну до вручения очередной стипендии Гёте-института.

Был 1992 год. Август. Молока и коров в Германии, переезжая по «землям», я видел немало... А у нас?

Село кормило. Село стояло на молодёжи, более всего на молодых девушках. Молодые матери хранили и детей, и землю нашу. Не спасёт Ставрополь и Краснодар. Спасут только молодые женщины, хозяйки, матери, семьи. Где они? Как вернуть «прошлое»?

Сегодня март, двадцать третий день. Совершенно сумасшедший, мокрый, мартовский снег, тяжёлый и сырой. Острый, неумённый, сыпет и сыпет. Валит то с ветром, колючий, то — огромными хлопьями, словно охапками. Русская баба, «дворничиха», в поту, в телогрейке стёганой, еле двигает — сдвигает с платформы мокрый снег двуручным скребком, приседает от тяжести его с налипшим снегом. Скребок сотворён так, что он очень широк, для двоих-троих, не меньше, и рамка на нём огромна. Баба уже и сама-то еле двигается, телогрейка на ней — хоть выжми. Ей — другая такая же «дворничиха» — кричит с дальнего конца платформы другой:

— Анна Тимофеевна, тяжёлая лопатка. Да снег налипаёт ещё!

В ответ:

— Какая разница, Тань, тяжёлая ли, нет ли?.. Мне быстрее надо!

...В этом вся русская женщина, безропотно-терпеливая страдалница. Русская женщина не думает о себе, а вот быстрее-то надо — вот и всё. И никаких поблажек или условностей. А зачем быстрее? А затем, что и там, куда спешит она, топаясь поскорее убрать снег, — и там дела, скорее всего, что и ещё тяжелее, чем даже и снег убирать на платформе. По платформе, в март, скребком возить. И вот, проходя, спросил их:

— Помочь вам?

Взглянула, взмахнула рукой:

— Сама управлюсь.

— Когда же отдыхаете? Каждое утро с темна — вы уже здесь.

— Когда сдохнем — тогда и отдохнем.

...Как глубоко, страшно виноваты мы, русские мужики, перед нашими женщинами. Бездонна, неумолима вина наша, и «к небу вопиёт», как великий смертный грех... Мыслима ли вот за таким

скребком американка или голландка? А немка? А полька?

Вспомнить Крымскую, Дашу Севастопольскую, сестёр милосердия. И фронты Первой мировой, и госпитали с нашими дворничихами даже. А Вторую мировую! Эти победы — едва ли не победы наших женщин. Тылы, госпитали, санитарки, поставки питания, когда сами умирали от недоедания...

..Впоследствии я всё же разузнал её историю, этой женщины со скребком. Молода была, не разглядела человека. Пил, бил, развелась. Двое детей. Чтобы прокормиться, согласилась на фиктивный брак с каким-то Файзуллоу. Расписались — а он и был таков. Теперь ищи-свищи Файзуллоу. Пятый уж год. За гроши он приобрёл угол в подмосковном доме, прописку у неё, за счёт её и на её доверии. А ей теперь соцпомощь на детей не оформить, ни льгот никаких, даже и самых крошечных: от государства. В собесе объясняют просто: вы женаты, мы даём малоимущим, а ваш Файзулла, быть может, миллионер. Пусть предъявит справку о доходах. Утрёт русская баба слезу, да и за скребок, за рельсы наравне с мужиками... Пристяжная с детьми — куда их денешь? И за жильё заплатить, и за ЖКУ без льгот, и обувь-одеть, и накормить, — вот и тащит она повозку с детьми, еле жива. И ни веры уже, ни надежды на такое государство.

Быть может, оттого и живёт наша Россия — и жива, хоть и униженно, да и так стыдно, что горько-безжалостны мы к нашим женщинам, жёнам, матерям-старухам...

Где вы, мужики русские? Ау... Впрочем, есть и иные дамы. В столице. Сорок два ей — а она генерал-майор уже. Знает, кому и когда улыбнуться. Да и вообще — красавица. За десять-двенадцать лет с прапорщика до генерал-майора поднялась. Комментарий они и пресс-атташе... И знаки за боевые заслуги у неё, и ордена, и медали. Горькое и сравнение. Конечно, столица — она столица и есть. А за пятьдесят километров от столицы какво?.. «И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт...»

Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевернутый картуз на ледяной плитке пуст. Он сидит как зачарованный. Недалеко от него — безрукий старик, подняв кверху глаза, будто молится. У согнутых коленей — несколько мелких железных монет. Ещё через двести метров — стоит овчарка. Прижав уши, она держит в пасти на клыкке банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка — пластмассовое ведёрко — доверху набита бумажными купюрами и монетой.

Что-то хронически не так в этом перевёрнутом мире. Пусто у нищего мальчишки и у старика. Пса жалеют гораздо больше, чем их. Не ошибаюсь ли я? Остановился, стал наблюдать. И точно. Время от времени к барбосу подходит хозяин в кепке, лет сорока, с сигаретой в зубах, и выгребает всё, что выдано было и пожертвовано прохожими «на корм собаке». Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего — «спасение» собаки? Его, того, кто с сигаретой, завистливо провожает взглядом беспризорник. Голая спина словно вылеплена из глины. Рёбра, лопатки, «флейта-позвоночник»... На выходе из метро, у забора с кустами, всё усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками, шприцами. Недалеко — храм Святого мученика Трифона, днём он всегда пуст. И у храма надпись и дата памяти святого. Но и здесь, на площади у метро, дата иная — надпись: «31 августа 2004 года террористка-смертница... Десять убитых... Погибших... 51 раненый». И ни одной погибшей собаки. Человек, женщина, призванная самой природой стать матерью, пришла сюда с поясом смертницы в 2004 году и отняла жизни у десятков себе подобных.

Нет, мы здорово проигрываем четвероногим, это верно. И айфоны, и компьютеры — вовсе не показатель ни ума, ни развития «Планеты людей» — как назвал нашу Землю знаменитый лётчик, писатель-француз, нравственник, сбитый в тумане на войне. Даже Антуан де Сент-Экзюпери — и тот не удержался на крыльях в «ночном полёте этой жизни...». «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь прейти», одолеть ночь временного сего бытия, — сказано в пятой молитве Василия Великого. Её и включили в утренние молитвы. С этой мыслью я и покинул площадь у метро «Рижская». Москва...

...Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду. Церковь казалась безмерно высокой, белоснежной снаружи. Я глядел вверх — как в трубу, уходящую шатрами ввысь среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол сверху оплетён паутиной хоров — хоров-выемок, с окошечками-полусферами.

Тогда, полвека назад, со словами священника «Дунь и плюнь», — помню, мне стало невыразимо страшно, и я завозился, и заплакал... Я, младенец, не увидел никого. Но липкий, холодный страх присутствия зла, и такого зла, которое казалось

безмерным, но не допускаемым до людей, ставшим от запрета немощным на какое-то время, — это чувство осталось со мной навсегда.

Особенно поразило меня, месячного (странно, что я всё помню), тогда — поразило то, что едва священник понёс меня куда-то (как оказалось позднее — в алтарь) — и во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо — сущность, некая субстанция... Она и подсказала мне, что несут меня в алтарь, и ещё сказала, что напрасно жду я чуда в алтаре. Напрасно. Чуда — этого великого явления мне Бога-Света — в алтаре не будет... И я вдруг осознал всем младенческим сердцем своим, что я во всём мире — один. Ни папа, ни мама, никто не поможет мне в этом холодном и страстном мире. И вот, родившись — я крещён. Как немощный цветок, теперь я открыт для ударов судьбы, и надо набраться сил противостоять им. Откуда? «Дунь и плюнь», — это объявление войны аду. Беспощадной войны.

Кто-то — то ли вне меня, то ли совсем рядом, то ли во мне самом — морочил меня и смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтарь), и в самом деле не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники. А на стекле икона Христа-пастыря, со скинутой в приветствии нашедшего стада пастыря рукой. Той рукой, десницей, на которую всю жизнь придётся надеяться теперь, — вот и всё, что способно было удивить неискушённое сердце младенца. Того, что предвкушало сердце за Царскими воротами, — того не было... И от этой внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни — так занемело испуганное маленькое сердце.

До сих пор помню и то разочарование, которое постигло тогда, при крещении. Подобного я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет, — словно шепнул мне некто слева, — алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел от испуга. Закричал, заплакал навзрыд. Забился в пелёнках в руках крёстной — восприемницы.

Но — отчего и чьё было это нащёптывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и от Кого ждала радости, — Тот, ради поиска следов Которого я и пришёл в сей мир, — никого Этого Тайного, зримого — не встретил я и впоследствии. И до сих пор. Только Тень... Величайшую Тень Его всеприсутствия.

Но и Тень, величие Тени Его поражает.